

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ДВОЕ – ОДИН

Зинаида Николаевна Гиппиус

Двое – один

Аннотация

«Вертелся, вертелся – однако исключили из гимназии.

И так, ни из-за чего исключили. И гимназия у них частная, мирная, все «богатика» больше, и демонстраций никаких особенных не поднималось, раз единственный на седьмой класс нашло что-то (в воздухе уж, должно быть) – потянулись «митинг» устраивать, пели, орали, потом задержали – ну, пятнадцать человек сразу и вылетело. Уж очень директор напугался...»

Содержание

I. Исключили	4
II. Дом	8
III. Оно	13
IV. Она	21
V. Пошли в революцию	25

Зинаида Гиппиус

Двое – один

I. Исключили

Вертелся, вертелся – однако исключили из гимназии.

И так, ни из-за чего исключили. И гимназия у них частная, мирная, все «богатики» больше, и демонстраций никаких особенных не поднималось, раз единственный на седьмой класс нашло что-то (в воздухе уж, должно быть) – потянулись «митинг» устраивать, пели, орали, потом задержали – ну, пятнадцать человек сразу и вылетело. Уж очень директор напугался.

Владя сам удивлен, что пел и дерзил, и теперь выключен, как демонстрант. Дико, что из восьмого класса никого не выключили, а ведь если правду говорить – зачинщики-то они. Кременчугов, например, на этом их, семиклассников, митинге вступительную речь говорил. Владя помнит, что бесновался и аплодировал, и тут-то и нашла на него полоса до конца дерзить и петь, однако о чем, собственно, была речь Кременчугова – он не помнит, да и мало интересуется.

Кременчугов остался, экзамены теперь держит выпускные, – выкрутился чудом каким-то, а Владю исключили. Ну, да наплевать. Владе даже нравится, что Кременчугов так

ловко выкрутился. Он далеко пойдет. Чего ему из гимназии исключаться перед выпуском? Его, может, не в карцер, а в самую крепость посадят. Ему пока беречь себя нужно. А Владя и то ладно. Владя сознает, что у него нет никакого мужества, что он слаб, бесхарактерен и беспомощен. Решительно – декадент.

Генеральша довольнехонька, что Владю исключили. Хоть и частная гимназия, а все-таки добра нечего было ждать. Теперь без разговоров в Правоведение. Революция пошла, скажите, пожалуйста! Генеральша ничему не удивляется, но ничего и не боится, слишком ясно видит, что это блажь, которая рано или поздно уляжется, и все пойдет, как должно, как шло. Нечего обращать внимание. Надо о своем будущем думать. Владю с самого начала следовало отдать в Правоведение; это дядюшка Иван Федорович, покойник, тогда смутил. А Веру в институт, не оставлять дома с учителями... Впрочем, Вера не испортилась. Славная девочка. И красивая будет. Вера и теперь красивая, статная, здоровая. Владя, в свои семнадцать лет, цыпленок перед нею. Да это от гимназии. Слава Богу, выключили! Теперь с осени же в Правоведение.

А пока – пусть одумается, отдохнет. Генеральша сама не может всем домом с апреля перебираться в деревню, а Владю отправила. Если б это был другой мальчик, действительно какой-нибудь из нынешних, а деревня у них далекая, где, говорят, «аграрии» какие-то появились, – не отправила бы, подумала бы. Но Владя – мальчик нежный, художественный

(его склонность к литературе новейшей и искусствам генеральша благосклонно поощряет), надежный мальчик. Деревня же их – просто усадьба старая, в трех часах от Петербурга, земли – парк, лес да болота, сторож-управляющий – человек верный, мужики кругом тихие. Генеральша любит свою «дачу» и верит в нее.

Владя ужасно доволен. В два дня собрался.

– Что там делать-то будешь? – с усмешкой спросила Вера.

Владя посмотрел на нее, и так как они росли, точно склеенные, всегда вместе, и не могли расклеиться, даже когда начинали жестоко ссориться, – то он, едва взглянув, понял, что Вера ему завидует.

– Мне необходимо одиночество в природе, – сказал Владя грустно и немного торжественно. – Хочу обдумать кое-что. Да и успокоиться.

Вера опять усмехнулась.

– Очень ты взволнован тоже. Эх, черт! Ведь будь я даже не подросток, а взрослая девица, ведь и то бы мать не пустила меня одну в Медведкино! Досадища! Да ладно. Ты без меня, пай-дитя, все около дома будешь вертеться. В Калинкин лес и то побоишься одил сходить. Я приеду, тогда набродимся.

Владя хотел было рассердиться, но он был покорен и нежен, и, в сущности, сам любил гулять с сестрой. Она не всегда вела себя таким диким сорванцом. У них часто шли бесконечные разговоры. Владя ничего не скрывал от сестры, шел к ней со всем решительно, и вообще не представлял се-

бя без нее. Привычка.

II. Дом

На ночь глядя приехал в Медведкино.

Да какая ночь, – уж белые зародились, белые, зеленова-то-сумеречные.

Дом Медведкинский старый-престарый, и Владе такой знакомый, что каждое пятнышко на обоях он помнит, и где что когда было – помнит, особенно в «детских», наверху, – а вот каждую весну дом делается, когда приезжают, новым и таинственным, особенно прекрасным, потому что он особенно мил.

Теперь же, когда Владя первый раз приехал один, как совершенно взрослый и самостоятельный, да еще после «потрясений», – дом Медведкинский глянул на него невероятно значительно. И жутко и хорошо.

Жена сторожа Максима, черная, быстрая, поджарая баба, с высоко подоткнутыми юбками, а сама густо обвязанная платком, принесла Владе молоко в тепло-пахнущей крынке. Поставила на стол, на свежую, со слежавшимися складками, камчатную скатерть. Обещала самоварчик принести. Владя хотел было сказать, что не надо, – да уж все равно.

В полусумеречной столовой пусто, свежо и так странно тихо. Может быть, не совсем тихо, но сразу другие шумы, чем те, петербургские, и потому кажется тихо. В сад, в самую зелень, еще слабую и не густую, но всю трепетно-живую, ок-

но открыто. Оттуда пахнет своим: вечерним, весенним туманом ручьевым и молодой, только что растущей осокой. А в столовой, в доме, проспавшем зиму и просыпающемся, – домашней сыростью старого дерева пахнет, темным лаком мебели, вымытым чистым бельем, и еще чем-то знакомым, старинным и усыпляюще упоительным, чему, однако, нет названия.

Катерина принесла и самовар, большой, желтый, злобный, с сильным белым паром, который, шипя, полез прямо в потолок. И хлеб черный принесла, пахучий, много.

Владя сам решил, что он с собой из города никого не возьмет, никого ему не нужно, есть будет самое простое, что Катерина состряпает.

Говорить ему не хотелось, но Катерина не уходила, а осталась в выжидательной позе.

– Ну, что, как у вас? – сказал Владя.

– Да слава Богу, барин. Что у нас, – ничего. Все, слава Богу, тихо. Слышно, ныне везде народ дурит, а у нас пока ничего. Смирно. Живем. Ее превосходительство скоро прибыть намереваются?

– Скоро... А вот пока я...

– Что ж. Дело молодое, – сказала Катерина глупо. И, помолчав, продолжала:

– А вам завтрава, коли что, Маврушка сапоги почистит. Все равно так шатается.

– Какая Маврушка?

– Да Максимова племянника, из Нырков. Гостит она у нас. Мать прислала, чем, говорит, до свадьбы зря баловаться. Она за богатеющего мужика просватана, вдовый он, мельница своя. Он-то хочет до Петровок свадьбу справить, ну да там еще не наладили что-то, а ее пока к нам. Пусть поживет, ничего. С ребятами тоже помогает.

– Тетенька-а! А тетя! – вдруг закричал кто-то на дворе визгл и во-молодо.

Владя вздрогнул. И точно листья у окна, молодые и нежные, тоже вздрогнули.

– Ишь орет, невежа, – заворчала Катерина, повернулась торопливо и вышла.

Опять все человеческое умолкло, только пар шуршал, слабея, в саду тишина копошилась и звенела, в доме, в молочном мраке пустых и свежих комнат, потрескивала, оживая, мебель.

Владя вышел в большую гостиную. Там еще молочнее и затененнее, потому что белые занавеси спущены. Какое все странное и милое, когда никого нет, а за окнами ночь и весна! Владе кажется, что его тоже нет, а есть они, – старый дом, ночь и весна, – и они одни друг с другом. От этого Владе приятно и глупо захотелось плакать, и он, чтобы развлечься, пошел по всем комнатам. Поднялся и наверх. Вот здесь, направо, они спали с Верой вместе, когда были совсем маленькие.

А на площадке они играли вместе в куклы. Владя помнит,

как раз тут Вера нечаянно разбила одну, общую их любимицу.

Владя заплакал горько, а Вера села на приступочку и злобно задумалась. Потом вдруг вскочила и стала бить другие кукольные головы о перила лестницы. Владя кинулся к ней с ревом, но Вера все била и кричала:

– Не хочу же их, коли бьются! Не хочу любить куклы, когда они разбиваются! На же вот, на же вот!

Владя тогда из себя вышел, и они ужасно подрались. Владя даже одолел, и Вера стала реветь громче его самого. В конце их обоих одинаково наказали, но кукол как-то оба с тех пор возненавидели.

В иное вместе играли.

Вскоре потом Владя перешел в другую комнату, а детская осталась Верина. Эта другая – с балкончиком в сад. Тут Владя раз, давно, крыжовником объелся – целый день его наверх таскал. А в прошлом году уже старался на этом балкончике декадентское стихотворение сочинять – только ничего не вышло. Спать захотелось. В Петербурге лучше сочиняется гораздо. А здесь не то.

У приготовленной постели стояла свечка, но Владя ее не зажег. Мутно-белый, ласковый, уже совсем ночной свет полосой шел из открытой двери.

«К ручью, что ли, сходить?» – подумал Владя, присаживаясь на постель.

И вместо того, чтобы идти к ручью – он лениво, не поды-

маясь, стал раздеваться, кое-как стащил с себя все, подлез под одеяло, как маленький, свернулся калачиком и сейчас же заснул.

Даже дверь не притворил, и оттуда напоззали в комнату весенние сырые шорохи, жадные и нежные шепоты влажной земли, раскрывающейся, трав, ночью растущих, – и все что-то шевелилось кругом, внизу, дышало и пахло, вздыхало и жило, подымалось, темное, теплое и ласковое.

III. Оно

Шлялся с утра.

Делать совсем нечего, а не скучно. О гимназии не думал, о Правоведении не думал, о Вере, своей сестре, думал, а потом немного о декадентстве, о кружках литературных – он и в настоящих бывал, не только в своем, гимназическом.

Думал, как это странно – Вера. У него ни одного товарища не было ближе Веры. И не то, чтоб он любил ее очень. А так, точно наполовину он сам. Чего в нем нет, а в ней есть, ему самому и не надо, как будто все равно есть уже. Если важное что-нибудь – они непременно согласны. Перед ней солгать, или утаить про себя – думать нечего, в голову не приходит. И ей, кажется, тоже.

Она Медведкино любит, и стихи любит. Она и пишет сама, не хуже его, иногда лучше. Они вместе читают, и точно оба написали.

Что Владя знает – то и Вера. О любви, или, как они чаще выражались – о «поле», много у них было серьезных разговоров. Владя – девственник, и гордится этим. И в гимназии не скрывает, да и много из них таких. Грязные разговоры и развратное старое молодечество с проститутками – противно и не в моде.

Вера тоже находит, что это противно, но не знает, как с девственностью. Не любит романтизма, и стихотворение од-

но Владино о возвышенной любви забраковала. Впрочем, оно было неискреннее, потому что Владя никогда не был влюблен. Это его даже огорчало, но и Вере он тут ничего не мог объяснить.

Женщины, нежные и томные, слабые и тонкие – ему очень нравились. Вот Лидочка Горн, например. Но ужас в том, что он сейчас же начинал относиться к ним, как к себе самому, нежно жалеть их вместе с собою за беспомощность. Дружил страшно – но ведь это не то!

Веселые, бойкие, сильные и задорные – тоже чрезвычайно нравились, некоторые. Но эти были ему как Вера. Необходимые – и совершенно известные, точно собственная рука. И тоже дружил, еще больше, – но ведь и это не то!

Так и не был влюблен. Вера говорила, что тоже не была, но что она тут чего-то не понимает, а потом непременно будет влюбляться, только замуж не выйдет. И Владю жалела, и очень ему советовала постараться. Он старше, на его месте она бы не так...

Оттого, что солнце грело резкий, еще не летний воздух, оттого, что трава была яркая-преярая, с желтыми, улыбающимися цветами, оттого, что прямые, как девушки, березки за ручьем трепетали, только что одетые, – Владя перестал думать определенно даже о Вере, даже о себе, а только дышал, на небо глядел, и ему было не скучно.

Весь парк исходил.

– В лес сегодня не пойду. Сыро еще, должно быть.

И просидел вечер на круглом балконе, откуда речку видно, лес вдалеке, за который солнце спускается.

Главное то, что ни один день не был похож на другой. Все двигалось на глазах, менялось чудесно. Каждое утро березы шумели другими шумами, потому что делались гуще. Каждую ночь коростель ручьевой кричал иначе, веселее и настойчивее. Кукушка закуковала совсем близко вчера; а когда Владя шел по полю, сняв шляпу, ветер ласкал его голову сегодня горячее, был пахучее и нежнее.

От вечера до утра все менялось. Темные твердые почки сиреневые прямо лезли теперь в окно столовой вместе с разросшимися ветвями. А около старой бани, у речки, у мостика, где белье полощут, – как все изменилось! По воде ряска уж залегла, и незабудки на болотце заголубели.

Владя мальчиком любил это место, около бани. Потом забыл, а теперь почему-то опять ходит, сидит на банной приступке или на траве, на солнышке, лежит.

Вчера на мостике Маврушка белье полоскала. Смеялась. Она – славная девка, сапоги ему утром чистит, иногда, вместо Катерины, самовар подает. Веселая, а болтать без конца не любит, как Катерина.

Владя теперь, в почти жаркий, томный полдень, лежа в траве под разомлевшими елями (сейчас за баней и парк-лес начинается) – слышит, как кто-то поет вдали, на усадебном дворе. Это Маврушка поет, – верно, стирает что-нибудь в корыте и поет.

Не визгливо, хорошо, а издали еще лучше, и шорохам лесным и травным не мешает.

Владе не скучно, но как-то не то жарко, не то беспокойно сегодня с самого утра, с самой ночи. И даже не сегодня только, а уж давно, кажется. Он весь, точно ель эта, разомлевшая на солнце; пахучая, темная, а на каждой веточке у нее бледный новенький приросток. И не движется она, а кажется, что вся насторожилась и тихонько-тихонько дышит.

Владя перевернулся на живот, и близко перед ним трава. Ну, уж вот эта-то прямо шевелится, и короткая и длинная. Может – растет, а может, там, у самой земли, от которой так густо, влажно и жарко пахнет ее телом земным, бродят муравьи, жуки и кузнечики, дышат и стебли шевелят.

Волна какая-то одна ходит и колеблется, сияющая, душистая и тяжелая; не поймешь – от солнца ли она к земле идет, от земли ли она к солнцу поднимается. Владе стало совсем томно и приятно-тошно, и приятно плакать захотелось о себе, – так было хорошо, и чувствовалось, что делать что-то надо, а делать было нечего.

Подумалось, конечно: вот бы влюбленным теперь быть! Но попробовал вспомнить любовные стихи – и не понравилось. Постарался припомнить барышню, из тех, какие ему нравились, – ничего не вышло. Он перевернулся на спину и стал глядеть вверх, без всяких мыслей словами.

И почему-то настойчиво и глупо, и совсем некстати, ему стал видаться их класс гимназический, во время митинга, и

Кременчугов из восьмого класса на кафедре, и говорит речь. О чем он говорит – Владя не знает; он только видит смуглое лицо с пятнами молодого румянца, черные брови над блестящими глазами и замечает, как губы двигаются, особенно верхняя, над которой чуть темнеют усы.

«Вот этот ничего не побоится! – мелькает отрывочно у Влади в голове. – Он от директора, как от стоячего, ушел. Большое плавание такому кораблю. Все у нас так думают. Сильный-то какой, милый какой!»

И Владя не завидовал Кременчугову, а лишь восхищался им, радовался ему, как никогда; томился им. Только удивительно было, с чего вдруг теперь, в траве, в полдень, Кременчугов вспомнился, когда уж давно не вспоминался.

«А Вере Кременчугов не так нравится», – подумалось было ему – и вдруг все прервалось.

Владя вскочил, растерянный, взъерошенный, и сел. Перед ним, совсем над ним, стояла Маврушка и хохотала.

– Чего ты? – спросил он недовольно и неприязненно. Он не слышал шагов ее босых ног по траве. На плече у нее была кучка мокрого белья, красное ситцевое платье было высоко подоткнуто. Владя близко-близко видел ее смуглые, крепкие и стройные икры, чуть отливающие золотом на солнце. Снизу вверх глядел на ее смеющееся широкое лицо. Глаза, карие, сузились, ресницы сблизились; красивые брови разлетом едва видны ему снизу. Очень смешная она сама снизу.

– Чего ты стоишь и хохочешь? – спросил он, тоже начиная

улыбаться.

– Да ничего. Очень уж вы все валяетесь. Глаза закрыли, а не спите.

Она говорила не дичась, очень просто.

– А ты на речку?

– На речку, да не волк, – не убежит. Я нынче что было – все перестирала. А вам не скучно эдак, одному да одному, да по траве валяться?

– Посиди со мной, – сказал вдруг Владя неожиданно и даже потянул ее вниз за юбку.

Что это он фамильярничает? Это еще что? Она еще вообразит гадость какую-нибудь. Или удивится.

Но Маврушка несколько не удивилась, а тотчас же хлопнулась на траву рядом с Владей.

На лице у нее заиграли и задрожали тени солнечные, и лицо сделалось не такое смешное, но зато красивее. Круглая щека, крепкая и розовая, с золотистым пушным налетом, совсем почти касалась Владиного плеча.

– А вот я в нашем городе у доктора в няньках цельную зиму жила, – сказала Маврушка. – Так там тоже ихний гимназист приезжал. Хорошенький тоже, вот как вы. А только и хитрый же! Уж один, бывало, не сидит, нет!..

Владя густо покраснел и сказал строгим голосом, чтоб переменить разговор:

– А ты замуж идешь, Мавруша?

– Замуж. Небось, пойдешь, коли эдакий сватается. Мель-

ница у него своя. Да черт его, старика краснорожего! Разве я его люблю, что ли? Тут-то мне и покрасоваться, напоследках. Старик что? Вонючий и вонючий. А вы вон барин, какой молоденький, да словно дитенок прячетесь, один да один по лесу, небось – скучно... Поиграть уж нельзя с вами...

Говоря, как-то незаметно, и цепко, и грубовато обхватила его, а потом вдруг взяла да и поцеловала в щеку, около уха.

Владя оцепенел. Куда же это повернулось? Что он чувствует? И что ему делать? Вместе – от робости, от вежливости и от полулюбопытства и полунегы, невольной, лесной, горячей и беспокойной – он совершенно оцепенел.

А Мавруша шептала ему прямо в ухо:

– Ой, барин, да и какой же вы молоденький! Я сразу, как увидела вас, так вы мне и понравились. А мне теперь-то и покрасоваться. Ну, его, старика моего, чтоб ему на том свете...

И она поцеловала Владю на этот раз прямо в губы, и так крепко, что он не удержался, сидя, и упал навзничь на траву. Все перед ним завертелось, глаза закрыл на минуту, – зеленые разводы заплясали перед глазами, а Маврушка опять его поцеловала, и он ее, кажется, тоже. Пахло от нее солнцем, человеком и мокрым бельем, и захотелось схватить ее и, не то сначала задушить и потом отшвырнуть, не то прямо отшвырнуть подальше.

Но не тронул, а поднялся, опять сел, с усилием взглянул на нее и с красными, как мак, ушами, пробормотал:

– Как тебе не стыдно?

А Маврушка опять зашептала, не выпуская его:

– Чего стыдно? Чего стыдно, глупенький? Ты лучше приходи сюда, к бане, вечером, как спать полягут. Что одному-то? Придешь, кудрявенький? А? Придешь?

– Приду, – сказал Владя неожиданно для себя, и не своим, а немного чужим голосом.

Маврушка радостно вскочила, подхватила кучку своего белья и на прощанье хлопнула Владю по плечу.

– Ну, так-то ладно!

Но вдруг присмирела сразу и опять наклонилась к нему, и тихонько сказала:

– Ты не подумай, я не какая-нибудь. Очень жалко мне тебя стало. Вижу, молоденький такой, хорошенький сам... А мне последние денечки...

Закраснелась, застыдилась, чуть не слезы на глазах.

– А то и не приходи. Не надо.

– Нет, я приду, – настойчиво повторил Владя.

Она еще постояла, ничего не говоря, и пошла прочь, шурша по траве босыми ногами.

IV. Она

Такая растерянность захватила Владю, что он и не помнит, что делал целый день.

Когда вечером Катерина самовар подала и что-то болтала (что – не вслушался) – Владя уже решил, что надо идти непременно. Попытался рассуждать трезво и просто.

«Ну, что ж, это пол. Это сама жизнь. Это природа. Нельзя же вечно отвертываться от жизни. Чтобы возвыситься над нею – надо ее знать. Иначе все книжная отвлеченность...»

А потом подумал:

«Наконец, я мужчина. У меня несомненно влечение к этой девушке, как и у нее ко мне. Это так просто. Вера бы непременно пошла. Вера проще и смелее меня. Вот в чем штука...»

И он туманно и несвязно продумал весь вечер о себе и о Вере. О Маврушке, о самой, совсем как-то не думалось.

Прилег на постель, одетый, не зажигая свечи, и забылся беспокойно и прозрачно. Но сон успел присниться: опять гимназия с чего-то, митинг этот злосчастный, и Кременчугов речь говорит. И смотрит прямо на него, на Владю, – и вдруг смеется, смеется, смеется... точно Маврушка.

Фу, ты, наказание! Вскочил, как очумелый... Сколько спал? Хорошо, если проспал! Не виноват ни в чем.

Ночь белоглазая. Сырая, насквозь душистая и теплая

совсем. Коростель скрипит настойчиво, точно издевается: «Спит-спит-спит-спит!»

Часы открыл у балконной двери: только без десяти одиннадцать. Все-таки поздно, может быть?

Сердце стучит, даже надоело. И стыдно, что он так волнуется. Ведь просто.

Поплелся вниз по лестнице, в темноте. Вспомнил, что Катерина на ночь двери запирает. «Еще забудете. А час неровен».

Вспомнил – но удаль вдруг нашла. «В столовой из окошка выскочу».

И выскочил. Сирень переломал, но и того не испугался. «Э, все равно. А нет ее, тем лучше. Прогуляюсь – и конец».

Он даже тихонько насвистывать что-то стал, приближаясь к бане и не видя там никого. Но перестал, осекся, потому что тотчас же заметил Маврушку. И она его заметила, метнулась из мутного света в тень, за крылечко.

Зашел за крылечко. Маврушка была там, закутанная в теткин платок. Владя не знал, что же теперь, сказать ей что-нибудь? Или что? Но она без смеха, как днем, а как-то неприятно робко обняла его.

– Пришли, миленький барин. А я уж думала...

Потом они, обнявшись, сели на сырую траву, в уголок. Хоть тепло было, но сыро, банно.

А потом, через некоторое время, без дальнейших разговоров, случилось все, что могло с ними случиться.

– Пусти! Пусти меня! – плачущим шепотом говорил Владя.

Но Маврушка глупо не пускала его и твердила:

– Ох, да и какой же ты молоденький! Ну, совсем дитенок! Да постой... постой...

Наконец, высвободился понемногу, отполз на четвереньках, потом встал, с трудом. В белесоватой, насквозь прозрачной ночи, все было видно. И как он полз, и ее развалившийся платок, закомканная юбка, и широкое лицо Маврушкино с распущенными губами. И все-таки красивое, серьезное. Только Владя этого не видел, не глядел ей в лицо.

Ему вдруг такое страшное почудилось, что он и повторить себе не смел, а оно все-таки стояло, оно одно.

Маврушка медленно поднялась, оправилась и пошла к нему.

Вот подошла. Точно не видит, что он уходит.

– Прощай, теперь прощай, – сказал Владя торопливо.

– А завтра придешь, глупенький? Придешь? Я ждать буду. Я уж так тебя люблю, так люблю...

И насаждает. Владя неловко, холодными руками слегка отстранил ее, упершись в грудь, и пошел к дому. Шагал торопливо, не оборачиваясь. С трудом, но не замечая, что трудно, влез в то же самое окно столовой и потащился по лестнице вверх. Недаром во сне Кременчугов смотрел на него и смеялся. Недаром.

Да какой черт Кременчугов! Что Кременчугов? Все дело

в Вере... Вот оно, самое ужасное. Вера... Она, Вера, Вера, сестра... Какой, однако, вздор! Нет, спать, спать, это первое, а потом уж можно будет...

Владя сорвал с себя все и бросился в постель. Заплакал о себе, о своем недоумении, и, кажется, не о себе только, а точно обо всех и обо всем. О том, что все сплошь, до такой степени непонятно, а он так беспомощен... И заснул, тяжело, тупо и беспокойно.

А коростель кричал близко, у ручья: «Спит-спит-спит-спит...»

V. Пошли в революцию

Еще первые дни была какая-то муть и надежда, в самой мути надежда, а потом, к концу недели, стало так худо, что Владя не выдержал и написал домой письмо, что заболел.

Ему и в самом деле казалось, что он заболевает или сходит с ума.

Сначала ходил днями по лесам, за пятнадцать верст ходил, по дождю, возвращался поздно, дрожа, пробирался к дому (как бы не встретить Маврушку), измученный ложился в постель – и все-таки почти не спал. А сны – точно галлюцинации.

Потом перестал вовсе выходить, сидел наверху, оступелый, разозленный, напуганный. Уехать – сил не было. Да и мелко-мелко это в голову приходило. Но Веру необходимо же видеть. И написал письмо.

Обеспокоенная генеральша решила сразу же отправиться к сыну, привезти его в город, если нужно. Она не была тяжела на подъем, а мать нежная.

Приехали, с Верой, конечно, и с одной только Агафьей Ивановной. Ведь не совсем же еще.

Владя встретил их на крыльце.

– Ну, что с тобой? Это еще что? Простудился, что ли? Или блажишь? Хорошо, что я все равно хотела сюда с Верой до воскресенья съездить.

– Мне немножко лучше, татап, – сказал Владя неловко. – Извините.

– Да, вид неважный... Не берегся, конечно; теперь сырость... Я салипирину привезла. Две облатки сейчас же извольте принять!

Вера, статная, красивая, плечистая шестнадцатилетняя девочка, с круглыми крепкими щеками и карими улыбающимися глазами, снимала шляпку и в зеркало взглянула на брата.

Он понял, что она страшно торопится остаться с ним вдвоем, но думает, что сейчас нельзя.

– Тебе надо сегодня раньше лечь, выпить теплого и пропотеть, – решила генеральша.

Вера подхватила:

– Да, да, я сама ему снесу чай наверх. Ведь ты у нас наверху, Владя? Ложись, я приду.

Она и Медведкина, своего милого, точно не замечает, по крайней мере, не говорит ничего, торопится.

Пришла; чашку у постели Владиной наспех поставила, села на постель и смотрит на Владю, бледненького, несчастного, укутанного до подбородка одеялом. Свеча горит на ночном столике, а дверь на балкон заперта. У Веры одна щека краснее другой от нетерпения, и темные завитки на висках, короткие, выбились из туго заплетенной косы.

– Ну, скорее. Какая еще трагедия тут у тебя? Что?

– А то, что я тебя ненавижу, – проговорил Владя медлен-

но, не спуская с нее глаз.

Вера чуть повела бровями.

– Хорошо, ладно... Я тебя тоже. А теперь рассказывай по порядку все, как было.

– Только свечку потуши и дверь на балкон открой. Будет достаточно светло. А так – мне стыдно.

– Скажите, пожалуйста! Стыдно ему! Да, впрочем, сделай одолжение, лучше будет.

– Мне не тебя, а вообще стыдно, – сказал Владя, пока она тушила свечу и открывала дверь.

Внизу, в столовой, еще гремели посудой и кто-то разговаривал. Но сад, вечерний, молочно-белый, опять сырой и теплый, был так шумен своими шепотливыми шумами, шорохами, стрекотаньями, ручьевыми стонами, что человеческое внизу совсем заглушалось его тишиной.

– Помнишь, мы раз тоже с тобой рано-рано приехали? – сказала Вера, отходя от балкона. – И всю ночь в этой комнате сидели: решили восхода солнца дожждаться, – и взяли да заснули?

И вдруг прервала сама себя:

– Ну, да что это! А ты рассказывай скорей! По порядку, смотри...

И уселась с ногами к нему на постель, внимательная, серьезная. В полутьме не сводила с него блестящих глаз.

Тогда Владя, немного слабым голосом, но без остановки, рассказал ей про Маврушку. Рассказал с мельчайшими по-

дробностями, все, что сам помнил. И что потом на четвереньках отполз, и что ночью белой все видно, хоть он и глаза закрывал.

Вера утвердительно качала головой. Иногда прерывала его коротким вопросом, и тогда он вспоминал забытую подробность.

– И вот, Вера, понимаешь, тут-то и случилось такое, чего я никак не мог предвидеть... Может, глупая мысль, *idee fixe*¹, но это даже не мысль...

Он приподнялся на постели, сел...

– Постой, – остановила его Вера. – Так все-таки сначала ты определенное влечение к ней чувствовал? Хотелось тебе самому обнять ее? Ну, и что же?

– Я не знаю. Кажется, вообще чувствовал... Тут деревня, весна, ну, сны разные... А потом она подвернулась и прямо начала. Я сам первый ни разу ее не обнял. А когда она – так и я, конечно... И, наконец, я думал – ведь это просто... Ну, как природа проста... Сто раз мы с тобой говорили...

– Да, – задумчиво протянула Вера. – Так, значит, ты сам ничего? Все она? Или она только вызывала тебя?

У Влади сделалось страдальческое лицо.

– Ах, Вера, ты главное пойми! Да, ты ведь понимаешь... У меня как бы влечение, влечение, – а тут и впуталась эта... мысль, что ли, и я уж не знал, что делаю, чего не делаю. Понимаешь, ты – и ты.

¹ навязчивая идея (*фр.*).

– Вместо Маврушки – я?

– Ну да, ты, вот как ты, Вера, моя сестра, известная мне переизвестная, точно моя же собственная нога или рука. И вдруг, будто не с Маврушкой, а с тобой я это все делаю, совершенно... не только не нужное, а какое-то противоестественное, а потому отвратительное до такой степени, что ты сама пойми. И чем дальше, тем хуже... Забыть не могу!..

– Да... – сказала опять Вера задумчиво. – Я, кажется, представляю... А Маврушка похожа на меня?

– Нет, не похожа. Хотя вот руки сверху, плечи... Двигаешься ты иногда, как она... И сложение, вообще, такое же широкое... Женское, что ли... И так вот, сейчас, в темноте, когда лицо белеется...

– И я тебе противна?

– Ужасно, – признался Владя. – Мне все чудится, что это ты же со мной тогда... Я знаю, что это сумасшествие, и пройдет. Но что же это будет? Я и сам себе, как представлю себя с тобой, делаю так противен, даже дрожь. И, главное, я думаю, что же это? Положим, я влюблюсь в кого-нибудь... Я не влюблялся, но допустим... Пока ничего – ничего, а если что-нибудь – вдруг опять мне покажется, что я как с собой, как с тобой, как с сестрой? Ведь я ее убить могу... Или себя. Это ты все виновата, – прибавил он вдруг горестно и злобно, – и поглядел ненавистнически прямо ей в лицо.

Но Вера не отвечала. Крепко задумалась. Ветер прошумел под балконом и стих.

– Я выродок, недоносок, психопат, – неожиданно, плачущим голосом, заговорил опять Владя. – Росли вот вместе, как склеенные, ты мной вертела, сама обмальчишилась. Мало тебя наказывали? А из меня черт знает что сделала – психопата, неврастеника... Ничем я не интересуюсь, ни на что не способен... Что мне, на тебе, что ли, жениться? Да провались ты!

Он упал лицом в подушки и глупо заплакал, почти заревел.

Вера подождала-подождала – и тоже замигала глазами. Ее слезы Владины всегда заражали. Но тут не заплакала, только брови сжала.

– Владя, знаешь что?

– Что? – спросил он, не отрывая лица от подушки.

– Оденься и давай пойдем в сад? Ты ведь не простужен? Мы потихоньку-потихоньку, из окна в столовой, вылезем и хочешь – на то же место, к бане, пойдем. Тебе лучше будет, ты увидишь, там совсем не то. И я тебе скажу. Важное-важное. Увидишь.

Она просила его, отрывала от подушки, заглядывала в лицо.

– Ладно. Уйди.

Вера отошла на минуту к балконной двери.

А потом они, как мыши, соскользнули со знакомой лестницы. Вера, ловкая в своей короткой юбке, выпрыгнула без шума в сирень, Владя за ней.

– А вдруг там Маврушка? – вслух подумал Владя. Но Вера сжала его руку.

– Глупости... Никого нет. Ты посмотри, как хорошо.

С речки сегодня подымался туман, длинный, длинными языками, белее белого воздуха, весь живой. А под туманом, внизу, что-то шелестело, стрекотало, коростель стонал пронзительным шепотом, а беззвездное небо стояло высоко, неподвижно и холодно.

– Сядем в уголочке, – шепнула Вера. – Ведь здесь оно с тобой было, да? Видишь, ничего нет. А я тебе важное скажу, ты не огорчайся...

Она шептала, и Владе казалось, что так и надо.

– Видишь, – продолжала Вера. – Может быть, я просто глупая девчонка, но мне давно казалось, что если б мы были не два разных человека, а один, то все было бы хорошо, а так – нам обоим скверно. Ты думаешь, мне себя довольно без тебя? Нисколько. Но уж никто не виноват, что так случилось. Бог, может быть, виноват.

Владя кивнул головой.

– Да. Ну, так что ж? Разорваться нам с тобой? Я же тебя ненавижу.

– Это ничего, пройдет. А разорваться я боюсь. Лучше вот что давай. Мы, в сущности, еще глупые и как бы маленькие, и странные, и многого тут, насчет любви особенно, не понимаем. Ну, и оставим пока. А ты, главное, в Правоведение не ходи, потому что это – дрянь.

– А как же быть?

– Мы осенью с тобой с такими людьми сойдемся... Я на курсы как бы пойду, я готова, и я уж решила. А ты тяни. Не соглашайся на Правоведение. Знаешь, я в эти недели у Лизы Ратнер со всеми познакомилась. И студенты бывшие, и Кременчугов ваш.

– Кременчугов?

– Ну, да. Он такой... Он много мне объяснил. Что ж, что мы молоды, это теперь тем лучше. Там все как-нибудь образуется, а мы просто подлю живем.

Владя как-то даже не удивился. Ему показалось, что он и сам давно это все думал.

– А мама? Ну, да что-нибудь выйдет. Нельзя же этим останавливаться.

– Конечно. Я потом тебе все подробнее расскажу. Я только хотела, чтобы ты не огорчился из-за Маврушки и из-за того, что мы выросли такие склеенные, как близнецы, и такое сумасшествие выходит.

– Ну да, – сказал Владя, – я понимаю. В той жизни, для всех, если мы с тобой и один человек в двух разных – то ничего. Гадко, когда для себя действуешь, потому что тогда надо в одиночку. И ненависть тогда к тебе.

– Значит, ты хочешь?

Вера смотрела на него широкими, детскими, радостными глазами. Ему стало как будто легче и веселее на мгновенье.

– Я, кажется, сам думал, что так нельзя жить, – сказал Вла-

дя. – Если мы с тобой несчастные, так пусть хоть за что-нибудь пропадем вместе, а не задаром. И Кременчугова, говоришь, видела?

– Видела, еще бы! А завтра, знаешь? Завтра мы еще погуляем, поговорим, а потом ты скажи, что хочешь в город, и уезжай раньше нас. Я через день-два приеду, и мы еще до лета настоящего кой-кого увидим вместе.

– Хорошо... – сказал Владя нерешительно. – А ты здесь что же будешь делать?

Вера искренне отвечала:

– Я эту Маврушку хочу без тебя посмотреть. Поговорю с ней и посмотрю. Мне интересно. Какая она? Как я или как ты?

Телесно-розовая, теплая полоса протянулась за Никиш-киным лугом. Ночные шумы примолкли, взвизгнула было птица в ветвях парка – и затаилась.

Далеко, в деревне, петухи пели, не переставая, но едва слышно. Круче и выше за клубился речной туман. Вставали из-за камышей высокие, прозрачные люди, и вытягивались, качая тающими, исчезающими головами.

Брат с сестрой сидели молча, притихнув, точно испугавшиеся, потерянные дети; ни в чем невиноватые, а все-таки потерянные. Небо, еще зеленое вверху, смотрело на них чуждо и холодно; как будто удивлялось, зачем они сидят под ним, и зачем их двое, когда они двое – один, и кому они нужны, двое: ему или земле? Или ни ему ни земле?